
П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

ЭСТЕТИКА
И ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА



МОСКВА
«ИСКУССТВО»
1984

славою хотело уничтожить все прежние заслуги. С летами, однако же, несколько изменились, то есть созрели понятия его, умирились предубеждения и еще более уяснился светлый и верный ум его. В последствии времени он сам словом и делом протестовал против своих слепых и неблагоприятных поклонников.

После смерти Пушкина настойчивый князь Козловский передал Жуковскому исполнение любимой задачи своей, обещаясь написать комментарии и примечания к сему творению. Мы выставили это маловажное обстоятельство потому, что оно показывает, как он заботился о русской литературе и каковы были его литературные понятия. *Нынешним* людям, то есть людям не *вчерашним* и, во всяком случае, уже не *завтрашним*, покажется невероятным, как мог умный человек так дорожить опоздавшим выражением классической старины. Но дело в том, что в хорошо образованной голове истинно умного человека есть место всему: и теплой и признательной любви к прошедшему, и требованиям от настоящего, и упованиям на будущее.

ЯЗЫКОВ.—ГОГОЛЬ

I

Кто только не совершенно чужд событиям русского литературного мира, тот мог встретить здесь наступивший год с двумя впечатлениями разнородными, но равно резко и глубоко означившимися. Одно из них порождало в нас печальное и безнадежное сочувствие, которым потрясается и изнемогает душа при утрате, на которую смерть положила свою печать несокрушимую. Другое отзывалось в нас звучным выражением жизни и открывало пред нами в области мышления светлые просеки, пробуждало в нас новые вопросы, новые ожидания. В первый день 1847 года пронеслась в Петербурге скорбная весть о кончине поэта Языкова и появилась новая книга Гоголя¹. По крайней мере я в этот день узнал, что не стало Языкова, и прочел несколько страниц из «Переписки с друзьями», где между прочим начертана верная оценка дарованию Языкова². Эти строки обратились как бы в надгробное слово о нем, в светлые и

умилительные о нем поминки. Это известие, это чтение, эти два события слились во мне в одно нераздельное чувство. Здесь настоящее открывает пред нами новое будущее; там оно навсегда замыкает прошедшее, нам милое и родное. Там событие совершившееся и высказавшее нам свое последнее слово, поприще опустевшее и внезапно заглухшее непробудным молчанием. Здесь событие возникающее, поприще озаренное неожиданным расцветом. На нем пробуждается новое движение, новая жизнь; слышатся новые глаголы, еще смутные, отрывчивые; но уже сознаем, что, когда настанет время, сим глаголам суждено слиться в стройное и выразительное согласие созревшего и полного убеждения.

II

Смертью Языкова русская поэзия понесла чувствительный и незабвенный урон. В нем угасла последняя звезда пушкинского созвездия, с ним навсегда умолкли последние отголоски пушкинской лиры: Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Языков, не только современностью, но и поэтическим соотношением, каким-то семейным общим выражением образуют у нас нераздельное явление. Ими олицетворяется последний период поэзии нашей; ими, по крайней мере донныне, замыкается постепенное развитие ее, означенное первоначально именами Ломоносова, Петрова, Державина, после Карамзина и Дмитриева, позднее Жуковского и Батюшкова. В сих именах сосредоточивается отличительное выражение поэзии русской; это ее краеугольные заглавные, родоначальные имена. Каждое из них имеет свое особенное значение. Нельзя сравнивать одно с другим ни по степени дарования, ни по сочувствию и одушевлению, которым общество отозвалось на голос каждого. Отблески славы, которые отсвечиваются на каждом из них, имеют также свою отличительную игру и яркость. Многие другие дарования проявлялись с успехом на поприще поэзии и запечатлели на нем следы драгоценные памяти народной. Многие и ныне пробуждают благодарное внимание наше, по крайней мере тех из нас, которые в наш положительный век верят еще в баснословную музу и не охладели в служении ее. Но повторяем, вне имен исчисленных нами нет имен олицетворяющих, характеризующих эпоху. Крылов, например, как ни многозначительно имя это, не подходит ни под одно из выведенных нами подразделений. Он не принадлежит школе Дмитриева, хотя и начал писать басни после него. Еще менее

участвовал он в направлении, которое дал Жуковский. Крылов явление совершенно отдельное. Он ничего не продолжал и ничего не зачал. Он ничей не преемник и никому не родоначальник. Он совершил свое, и только; но это только образует отдельный и цельный мир поэзии: Определив таким образом место Языкова, мы достаточно оценили значение, которое, по мнению нашему, принадлежит ему, и важность утраты, понесенную нами преждевременною кончиною его. Эта потеря тем для нас чувствительнее, что мы должны оплакивать в Языкове не только поэта, которого уже имели, но еще более поэта, которого он нам обещал. Дарование его в последнее время замечательно созрело, прояснилось, уравновесилось и возмужало. Первые и довольно долго, может быть, слишком долго продолжавшиеся опыты студенческой музы его выказывали только самобытность поэтической природы, которая выражалась необыкновенно бойким и звучным стихом. Виден был смелый художник, мастер в резьбе стиха, обильного красками и звуками, но поэт в полном значении, но творческая, но духовная сила разве изредка, и то мельком, проявлялись в нем. Опасно было застояться на месте: нужно было движение вперед. Движение это могло бы совершиться спокойно и постепенным развитием внутренних сил, но Провидение судило ему воспрянуть из недуга и страдания, внезапно постигнувших юношу. Муза его на несколько лет умолкла и вышла из этого искуса молчаливого перерожденная и окрепшая. Однообразие, которым некоторые, и, может быть, не без основания, упрекали талант его, имело, впрочем, естественную причину. Языков и по характеру своему и по обстоятельствам жил более внутреннюю, нежели внешнею жизнью. За исключением нескольких приятелей, он мало водился с людьми, был не разговорчив и не общежителен. Слова «светскость», «общественность» не имели для него полного и живого значения. Долго жил он в Дерпте веселым отшельником, то есть студентом [кажется, даже и вышедши из студентов]. Из Дерпта переехал в Симбирскую деревню и только изредка, и то на короткое время, являлся в Москву. В подобной жизни мало разнообразия в впечатлениях, мало побуждений и вызовов на деятельность. Понятия, ощущения перерабатываются, изменяются в частом и тесном столкновении с людьми и событиями. Гений может созреть и расти в созерцании одиночества; способностям и дарованию нужны движение и зрелище более разнообразное. Конечно, врожденная лень была одна из преобладающих стихий духовного образо-

вания поэта нашего, но надобно признаться, что и судьба его была ленива. Поэтическое дарование его, особенно в первую половину, не являет признаков этой роскошной и разнообразной произрастительности, которою отличается почва более согретая, более благорастворенная влиянием живительной силы, ее окружающей. Но зато все, что взрастила муза его в тесной лощине своей, имеет необыкновенную силу, свежесть и сочность. Не в даровании его мало было гибкости и разносторонности, а в уме его и в привычках жизни. Разнообразные явления действительности не могли отражаться в его вымыслах, потому что поэтическое зеркало его обращено было ясною и восприимчивою стороною своею к внутреннему и личному миру поэта, а тусклою и непроницаемою ко внешним впечатлениям. Ему лень было переворачивать это зеркало. Поэтому стих его мало вызывал любопытства, не касался современных вопросов, не возбуждал и не ласкал современных верований и легкораздражительных сочувствий. Стих его не кидался в боевую жизнь, не кипел общими страстями, не отвечал на все упования и сетования современного человека, как стих Байрона или Пушкина. Поэзия его не имела драматических свойств вечно изменяющейся жизни человека и общества с ее противоречиями, междоусобными враждующими силами, битвами и нечаянностями. Поэзия его была лично и внутренне лирическая. В ней отзывались первобытные и вековечные глаголы природы, всегда единой и неизменной, но всегда новой и глубоко вам сочувственной в проявлениях своей однообразной и неистощимой расточительности, и зато стих его часто западал глубоко в душу многозначительным и огненным выражением. Чувства его не прорывались на поверхность, а сосредоточивались в глубину. Поэзия его подземный темный родник, из коего он в минуту волнения и жажды высекал сильно бьющую и свежую струю. Дальные горизонты, широкое течение реки, орошающей красивые и живописные берега, не были даны ему в удел. И в жизни своей и в таланте он почти заперся в заколдованном круге, который поэтически обвел около себя. Так прошли многие годы в неге мирных и созерцательных досугов. Но нельзя же целой жизни выразиться в одном светлом и безмятежном сновидении. Рано или поздно действительность отметит его своим жестким словом. Языков, не вмешавшийся в толпу и сечу, не мог опасаться нападений от людей и событий. Но, за неизменением внешних противодействий, Провидение наслало на него внутреннего и неотвратимого врага. Многосложная,

неуступчивая, изнурительная болезнь вдруг вызывает жизнь его на подвиг долготерпения и страдания. Прости поэзия и тихие радости лени и самозабвения! Черствая язвительная проза не дает поэту забыть, напоминая ему, что и он сын земли, то есть труженик. Все средства исцеления истощаются безуспешно. Наконец врачи прибегают к обыкновенному крайнему средству, когда, не сумев избавить больного от болезни, избавляются они по крайней мере от больного. Языкова отправляют за границу. И бедный наш поэт покидает домашний кров и вступает в обширный Божий мир не Чайльд-Гарольдом, с лирою в руках, за ловлею новых впечатлений, не с тем чтобы благорастворить душу свою свежими и плодоносными вдохновениями; нет, его просто отправляют за границу как в общественную лечебницу, за неимением средств вылечить дома. В 1838 году встретился я с Языковым в Ганеу. Я знал его в Москве полным, румяным, что называется, кровью с молоком. Тут я ужаснулся перемене, которую в нем нашел. Передо мною был старик согбенный, иссохший; с трудом передвигал он ноги, с трудом переводил дыхание. Тело изнемогало под бременем страданий, но духом был он покорен и бодр, хотя скучал. Чистая, кровная славянская порода его не могла ужиться в Неметчине. Мало прислушиваясь к движению немецкой и западной умственной деятельности, он в Германии окружен был русскими книгами, жил русскою жизнью, которую носил в груди своей, в чувствах, привычках и помышлениях. Позднее, когда отлегло ему и в промежутках страданий пытался он извлекать звуки из лиры своей, долго молчавшей, в виду новой, гостеприимной природы, радужно привествовавшей оживающего страдальца, он все тосковал по матушке-Волге и беседовал о ней с зелеными волнами Рейна³ и с голубыми разливами Средиземного моря. Тоска по отчизне пробудила вдохновение его: с нею сквозь слезы снова улыбнулась ему его задушевная муза. Россия, любовь к родине, русское чувство сильно и почти исключительно отразились с того времени в его последовавших песнопениях. Здесь опять преобладательное вдохновение, направление одностороннее. Здесь также недостаток вымысла, мало воображения: творческая игра и прихоть поэта сжаты в означенных пределах, но зато здесь же сила, верность, глубокий отголосок в выражении страсти, которая не развлекается, не дробится радужными отблесками, но сосредоточивается в один чистый и сияющий пламенный. В некотором отношении Языков сближается с Державиным. В том и в другом: мысли, чувства,

звуки, краски преимущественно, если не исключительно русские. Налетные отголоски, чужеземные образы не отражаются, не отзываются в их родовой поэзии. Не столько предубеждения, ненависть к чужбине оградили их от соприкосновения с иноземными началами, сколько равнодушие ко всему, что не русское, самобытное врожденное чувство и сознание собственной силы. Не знаю, верно ли передам мою мысль, но я назвал бы их жителями не общего всем поэтам поэтического материка, а поэтами какого-то неприступного острова, отделенного от остального мира океаном собственной, им одним принадлежащей поэзии. Большая часть поэтов, как и племен твердой земли, более или менее сбиваются друг на друга. Они соединены общественными и международными сношениями и условиями, породнились взаимными, порубежными переселениями. Но другие самобытные островитяне, поэтические самородки. В них, в их поэзии нет ни капли иноплеменной крови. Спешу прибавить, что не говорю того ни в похвалу им и не в осуждение, а просто таким очерком определяю их характеристику. В наше время так много толкуют о народности в литературе, так во зло употребляют это выражение, что я остерегаюсь его как слова, которое имеет произвольное и сбивчивое значение. Во всяком случае есть много неопределенности в изложении настоящего вопроса, в требованиях на разрешение оною. Оно, по моему мнению, темно и бессознательно везде, а особенно у нас. Прежде нежели внести это требование, это правило в литературное уложение, нужно бы ясно и положительно определить: что признается народностью в литературе? Из каких стихий должна она образоваться? На каких эпохах нашей народной жизни должны утвердиться начала и основания ее? Нельзя не спросить учителей и законодателей новой школы: куда и до каких граней нам возвратиться или по крайней мере куда и какими путями нам идти? Разрешения этих вопросов не найдем нигде. Наши нео- и староучители отвлеченным языком, общими местоимениями намекают о том, что должно бы выразить существительными, собственными, личными именами, так чтобы не было ни недоумения, ни сбивчивости. У иных по странному противоречию притязания на русскую народность облекаются в зыбкие призраки туманной немецкой философии, так что добрый русак, не посвященный в таинство гегелевского учения, и в толк не возьмет, как ему надлежит окончательно обрусеть. У других эти притязания выказываются в напряженной и пошлой восторженности. У третьих в

неуместной подделке простонародного языка, в прибаутках, в поговорках, которые очень живы и метки, когда они срываются с языка, но когда они на досуге нанизываются в тишине кабинета, а оттуда переходят в официальную область печатной гласности, они притупляются и становятся приторными. Вообще же эти притязания более всего бессознательный отголосок современного европейского лозунга. За несколько лет пред сим толковали у нас о романтизме; это также были наносные толки. Мы очень любим вмешиваться в чужие речи, чтобы показать, что и мы что-нибудь да смыслим по этой части и по прочим частям. Позвольте же, милостивые государи, спросить вас: чем же были мы доньше, если не были русскими, и если ими не были, то где взять персть и дух, чтобы создать русского писателя? Выдумать народность трудно. Между тем то, что есть существенного и живого в нашей народности, то есть в духовной и нравственной личности народа, то само собою пробивалось в общественных явлениях и в поэтических созданиях тех самых лиц, в которых вы не признаете начал народности. По мне все, что хорошо сказано по-русски, есть [чисто русское,] чисто народное. Каждое теплое чувство, каждая светлая мысль, облеченные живым и стройным русским словом, есть выражение и достояние народности: будь это стих Дмитриева, которого отлучают от народности, будь стих Крылова, в котором она [будто] олицетворилась⁴, будь передо мною любая страница Карамзина, будь одна из хороших страниц Гоголя. Неужели Жуковский, который передает нам Гомера⁵, и еще греческим гекзаметром, а не размером песней Кирши Даниловича, должен по части народности уступить ему в отношении к форме, а, например, Хераскову, творцу «Россиады», в отношении к содержанию. В таком случае первым из наших поэтов был бы стихотворец Грамматин, который и по форме и по содержанию не уклонялся строгой и непогрешительной народности, ибо, воспевая события 1812 года, он заставлял Наполеона держать такую речь: «ой ты гой еси, добрый маршал Ней!»⁶ и так далее. Тот же Жуковский и Пушкин подарили нас несколькими чисто народными сказками; они прекрасны. Но если бы нам суждено было отказаться от части написанного ими, на этих ли сказках остановился бы выбор наш или даже ваш, господа поборники народности в поэзии? Разве Шекспир не тот же народный поэт в Англии, не та же литературная плоть и кровь ее в «Отелло» и в «Ромео», как и в других драмах своих чисто народных и туземных? Сомнения по этим

вопросам не могут быть приняты к делу. От них отказались бы, наверно, и ревностнейшие провозглашатели нового учения. Но не к таким ли заключениям ведет последовательная и логическая связь применений теории несколько произвольной и заносчивой? Что в каждом народе есть ему свойственные стихии народности, это неоспоримо; что должно ими пользоваться, это также неоспоримо, как и то, что нельзя отказаться от них, хотя бы, паче чаяния, кому-нибудь и хотелось переродиться или даже хоть просто совершенно перерядиться в иностранца. Но дело в том, что не должно и, слава Богу, невозможно отделить, отрубить чисто народное от общечеловеческого. Первоначально мы люди, а потом уже земляки, то есть областные жители. Что ни делай, а в каждом земляке отыскивается человек, как в каждом человеке пробивается земляк. Все люди созданы по одному образцу, а между тем у каждого из них своя особенная физиономия, физическая и нравственная. Все писатели одного народа пишут одним языком, те же слова служат им орудиями; а у каждого писателя, то есть не пошлого и не дюжинного, есть свой особенный слог. Как же литературе, которая тоже духовная физиономия и слог народа, не иметь только у нас своей личности, своего характера? Люблю народность как чувство, но не признаю ее как систему⁷. Ненавижу исключительность не только беспрекословную и повелительную, но и условную и двусмысленную. Может быть, эту ненавижу еще более. Христианское учение, эта высшая образованность предвечная, и земное просвещение, эта образованность временная и мимоидущая, породнили народы между собою и все и всех соединили взаимною любовью и пользою. Мне не входит ни в голову, ни в сердце, что можно положить себе за правило и обязанность предпочитать русскую Волгу немецкому Рейну. Но понимаю Языкова, но сочувствую ему, умиляюсь и увлекаюсь чувством его, когда вижу, что он остается *волжанином* в виду красивого Рейн-Гау или грозного водопада. Языков был влюблен в Россию. Он воспевал ее, как пламенный любовник воспевает свою красавицу ненаглядную, несравненную. Когда он говорит о ней, слово его возгорается, становится *огнедышащим*, и потому глубоко и горячо отзывается оно в душе каждого из нас. Те же, которые не сочувствуют искреннему выражению страсти его из опасения уронить тем свою независимость и возвышенность умозрения, доказывают, что они уклоняются от народного потому, что превратно и ограничено понимают общечеловеческое.

III

Прежде нежели начнем подробный разбор книги Гоголя, поспешим сказать о ней наше мнение вообще. Оно будет заимствовано из слов самого автора: *она была нужна*⁸. Это лучшая похвала книге. Так нужен был перелом. Перелом этот тем полезнее, что противодействие истекло из той же силы, которая невольно, но не менее того всеувлекательным стремлением дала пагубное направление. Объясним свою мысль. На авторе лежала обязанность не двусмысленно, не сомнительно, а гласно и, так сказать, торжественно разорвать с частью своего прошедшего, то есть не столько своего собственного прошедшего, сколько того, которое ему придали, с одной стороны, безусловные и чрезмерные поклонники, а с другой — многочисленные и часто неудачные подражатели. Те и другие сильно опутали и оговорили ответственность его. Я всегда был того мнения, что Гоголь сам по себе и сам за себя дарование необыкновенное, что он занимает светлое и высокое место в литературе нашей; но вместе с тем, что как родоначальник школы, во что хотели возвести его, он был не только не у места, но даже вреден. Отдельный голос его имел прекрасное и полезное значение. Но на беду сто голосов подтянули ему и все дело испортили. Рано или поздно Гоголь с своим метким и рассудительным умом должен был это почувствовать и опомниться. Нет сомнения, что на крутой поворот его, который так всех удивил и многих сбил с толку, подействовали не столько озлобленные противники, сколько бешеные приверженцы его. Чему мог научиться он от хулителей своих? ровно ничему. Выдавая себя за белоручек и недотрог, они только чопорно возмущались и брезгали картинами его, не довольно опрятными для их целомудренной взыскательности. Из творений Гоголя испарялись запахи, которые тревожили их изнеженные нервы. Эти господа, как городничиха в «Ревизоре», хотят, *«чтобы у них в комнате все было амбре»*. Тогда, *зажмуря глаза и нюхая, они говорят: «как хорошо!»*⁹ Забавно было видеть, как они учили Гоголя светской вежливости и утонченным приемам своего избранного круга. Здесь кстати вспомнить то, что Пушкин давно уже сказал о них: «Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами! Где бы, как бы послушать?»¹⁰ То-то и беда, что нашему брату негде. Разумеется, все эти упреки и требования наших журнальных маркизов и мирлифлеров¹¹ мало озабочивали смирен-

ную и опростонародившуюся натуру Гоголя. Стало быть, учение их пошло не впрок. Но что сделать не могли неприятели, то предоставлено было сделать друзьям. Пошлая брань и неосновательные придирки могли и должны были проскользнуть мимо внимания его. Но чрезмерные, часто ложные похвалы, приторные гимны усердных поклонников не могли не навести уныния на человека с умом светлым и высоким. Тут и самолюбие не могло помочь. Самое ненасытное самолюбие не устояло бы против такого пресыщения. В некоторых журналах имя Гоголя сделалось альфой и омегой всякого литературного рассуждения. В духовной нищете своей многие непризванные писатели кормились этим именем как единым насущным хлебом своим. Я очень понимаю, что наконец Гоголю должны были опротиветь и самое имя его и творения им написанные¹². Для умного человека, сознающего свое достоинство, нет ничего тошнее и оскорбительнее похвалы невпопад и неуклюжей. Другой, одаренный веселостью более беспечною и насмешливою, дружески и радушно подшутил бы над своими назойливыми хвалителями. Он попросил бы их оставить его в покое и, пожалуй, смешить благоразумных людей, если им того хочется, но по крайней мере не его именем, не его авторскою личностью. Но смешное, то есть безобразное, не всегда возбуждает в Гоголе чистую веселость. Она не всегда выражается у него простосердечным смехом. Часто в насмешливости его отзывается горечь и глубокая скорбь. Посмотрите на многие карикатуры его: смешно и больно. От смеха тяжело на сердце. Он в некотором отношении Гольбейн, и, например, «Мертвые души» его сбиваются на «Пляску мертвецов»¹³. Это почти трагические карикатуры. Таковое замечательное и странное свойство его отозвалось и в этом случае. Идолопоклонство, которого он сделался целью, показалось ему так смешно, что ему стало до нестерпимости грустно. Смешное смешным само по себе, но в этих похвалах было и такое, которое неминуемо должно было растревожить и напугать его здравый ум и добросовестность. Его хотели поставить главою какой-то новой литературной школы, олицетворить в нем какое-то черное литературное знамя. Таким образом с больных голов на здоровую складывали все несообразности, все нелепости, провозглашаемые некоторыми журналами. На его душу и ответственность обращали все грехи, коими ознаменовались последние годы нашего литературного падения. Как тут было не одумать-ся, не оглядеться? Как писателю честному не осыпаться

головы своей пеплом и не отказаться с досадою от торжества, устроенного непризванными и непризнанными руками? Все эти ликторы и глашатаи, которые шли около него и за ним с своими хвалебными восклицаниями и праздничными факелами, именно и озарили в глазах его опасность и ложность избранного им пути. С благородною решимостью и откровенностью он тут же круто своротил с торжественного пути своего и спиною обратился к своим поклонникам. Теперь, оторопев, они не знают, за что и приняться. Конечно, положение их неприятно и забавно. Но что же делать? Сами накликали и накричали они беду на себя. Но, впрочем, в утешение свое, если вырвался из рук их живой, могут они удержать за собою мертвых. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов и этот бедный и неповинный Кольцов, который Бог знает как сюда попал, не могут уже вступить за себя. Над ними безнаказанно могут они продолжать опыты своей гальванической критики. Так безжалостно и погоняют они их на своем журнальном заколдованном колесе, которое бесконечно у них вертится, не подвигаясь ни на шаг вперед.

Впрочем, что Гоголь попал в руки литературным шарлатанам, это не мудрено: им нужны блестящие ярлыки, чтобы сбывать свои ничтожные снадобья. Но странно, что умные и добросовестные судии, едва ли не заодно с ними, сбились со стези умеренности и благоразумия в оценке трудов Гоголя¹⁴. Это самое доказывает, что тут было какое-то недоразумение. Каждый видел в нем то, что хотелось видеть, а не то, что действительно есть. Иначе как объяснить, что ум и пошлость, рассудительность и пустословие, понятия совершенно разнородные, мнения противоположные, сошлись заодно в суждении о достоинстве, полезности и многозначительности одного и того же явления? Что люди, провозглашающие наобум какое-то учение западных начал, искали в Гоголе союзника и оправдателя себе, это еще понятно. Он был для них живописец и обличитель народных недостатков и недугов общественных. Эти обличения несколько напоминали им болезненное, лихорадочное волнение французских романистов¹⁵. Это было какое-то противодействие прежним, коренным литературным началам. Они не понимали Гоголя, но по крайней мере так могли в свою пользу перетолковать создания его вымыслов. Но что те, которые отказываются и предохраняют нас от влияния чужеземного, что те, которые хотят, чтобы мы шли к усовершенствованию своим путем, росли и крепили в собственных началах, чтобы те самые радовались карти-

нам Гоголя, это для меня непостижимо. В картинах его, по крайней мере в тех однородных картинах, которые начинаются «Ревизором» и кончаются «Мертвыми душами», все мрачно и грустно. Он преследует, он за живое задирает не одни наружные и прививные болячки: нет, он проникает в глубину, он выворачивает всю природу, всю душу и не находит ни одного здорового места. Жестокий врач, он растравливает раны, но не придает больному ни бодрости, ни упования. Нет, он приводит к безнадежной скорби, к страшному сознанию. Повторяем сказанное нами: этот взгляд автора как отдельный, как принадлежность личности его мог иметь достоинство свое и некоторую верность, хотя условную и одностороннюю. Но обратить этот частный взгляд в общее воззрение, но извлечь из него общее убеждение и на этом убеждении основать начала нового направления, новой литературной школы, все это приводит к хаосу противоречий, заблуждений, ложных выводов, из коих выпутаться невозможно.

IV

Теперь обратимся к новой книге Гоголя. Мы уже сказали, что, согласно с мнением автора, признаем ее полезною и нужною. Она именно кстати потому, что так противоречит современным произведениям, не могу решиться сказать, литературы, а разве книгопрядильной промышленности нашей. Она есть выражение нынешнего образа мыслей автора, род суда его над самим собою и, следовательно, суда над многими, потому что он отразился во многих. Как ни оценивай этой книги, с какой точки зрения ни смотри на нее, а все придешь к тому заключению, что книга в высшей степени замечательная. Она событие литературное и психологическое. А у нас эти события редки. Мы истратились на мелочи, мы растерялись в дневных пустяках. Действие, произведенное этою книгою, доказывает, что она не проскользнула по общему вниманию, а запечатлелась на нем, по крайней мере на несколько недель. И это уже много, судя по легкомыслию, а частию и равнодушию нашего общества. Что все журналы о ней отозвались, кто как мог, кто как умел, это еще ничего. Но о ней много было словесных толков, прений, разговоров. Это гораздо важнее. Давно замечено, что языки у нас гораздо умнее и дельнее перьев. У нас, и слава Богу, общественный ум сам по себе, а журналы сами по себе. Приводя слышанные словесные толки к общему итогу или по крайней мере к выражению боль-

шинства, спрашивается: для вернейшего достижения цели своей, для надежнейшей пользы, в таком ли виде должен был явиться пред обществом обратившийся или преобразовавшийся автор? Этот вопрос, кажется, разрешается не совершенно благоприятно для него, не столько по существенному достоинству книги, сколько по ее внешним формам. Перелом был нужен, но, может быть, не такой внезапный и крутой. Самая истина, если хочет доходить до нас, должна подчинять себя некоторым условиям, соразмерять действие свое с ограниченностью нашей восприимчивости, щадить наше упрямство, наши слабости и дурные привычки. В созданиях художественных (а всякая книга, какого бы содержания она ни была, принадлежит им) есть свой узаконенный обман. В картинах есть тайны оптики, перспективы: соблюдение этих тайн приводит в стройность предметы и оттенки их, уравнивает впечатления. Для книг есть также свои тайны. В творениях Гоголя, как, впрочем, ни сильно и ни глубоко в нем художественное начало, вообще заметен недостаток в хозяйственной распорядительности, в размещении, в домостроительстве книжного здания. Не лукавствуя пред собою, прямо и смело вглядываясь в душу свою и в душу ближнего, он не довольно лукавствует перед зрителем, то есть перед читателем. Всегда преобладаемый одною мыслью, одним чувством или убеждением, он кидает их на бумагу, целиком, так сказать в необработанном сыром виде, обещая себе и читателю своему привести их после в надлежащую отделку и стройность. Так в «Мертвых душах» казалось ему очень натурально сложить в одну часть всю домашнюю черноту человека, весь хлам и нечистоту общества, предоставляя себе в последующих частях ввести читателя в светлые и праздничные покои. Подобное распределение грешит и против художественности и против нравственной истины. В отношении к первой картина от того слишком одноцветна; все выдается из нее слишком резко, обрубленно и грубо. В другом отношении наблюдение и благоразумие научают нас, что в нравственном мире не только многосложное общество, но и отдельный человек не иссечены из цельного камня. Как общество, так и человек образуются из составных частей. Наш свет не рай, но и не ад. Не все в нем благообразие и чистота. Но не все же безобразность и порча. В каждом человеке порочном и злом можно доискаться чувства совестливости, можно пробудить или предание, или надежду лучших дней. В обществе, хотя и болезненном, и подавно. Во всяком случае добро и зло, свет и тьма

переливаются переходными отблесками и сумерками. В настоящей книге автор также мало заботится о том, как примут ее читатели. Перед нами был остроумный, забавный, хотя иногда и безжалостный рассказчик. Мы заслушивались его с веселостью и вниманием. Вдруг ни с того, ни с другого, так сказать не прерывая речи, заговорил он совсем другое. Вышло по пословице: начал за здравие, а вывел на упокой. Многим не верится, что пред ними тот же человек, что слышат они тот же знакомый и любимый голос. Другие гnevаются, думая, что автор морочит их, ломают голову себе, чтобы взять в толк, зачем он так заговорил, хотя все, что он говорит, само по себе толковито, благоразумно и дельно. Но они не того ожидали. Оттого со стороны публики обчеты и недочеты, недоразумения, некоторого рода оборонительное противодействие. Положим, что автор мало-помалу изменил бы свое направление, что он до оглашения полной исповеди своей постепенно выказался бы в предварительных творениях, слегка проникнутых чувством религиозным, более благоволительным и миролюбивым, нежели в прежних своих сочинениях, и нынешняя книга не подняла бы такой тревоги, не озадачила бы, не ошеломила бы многих. Не подготовленные, не задобренные заранее маленьким прологом, многие читатели из опасения обмолвиться решились лучше осуждать, нежели хвалить: ибо, по мнению многих, извинительнее провратиться излишнею и несправедливою строгостию, нежели неосновательным добрым отзывом. Впрочем, и то надобно сказать в оправдание автору: книга его написана не в один присест. Не то чтобы он лег спать автором «Ревизора» и «Мертвых душ», а проснулся автором книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Самое заглавие изъясняет историю книги, а письма с означением годов, когда они были писаны, историю внутреннего и постепенного перелома в понятиях человека. Уже за несколько лет пред сим началось в нем духовное преобразование. Об этом знали только некоторые приятели, поверенные его сердечных исповедей. Для них появление книги Гоголя совершение ожидаемого события. Но публика не была сообщницею в этой тайне, и вот что многих сердит, потому что мы не любим, когда нас застают врасплох. Вообще журнальная критика по поводу новой книги Гоголя явила странные требования. Казалось ей, будто она и мы все имеем какое-то крепостное право над ним, как будто он приписан к такому-то участку земли, с которой он не волен был сойти. На эту книгу смотрели как на возмущение, на изъяснение предатель-

ства и неблагодарности. Некоторые поступили в этом случае, как поступил бы иной помещик, хозяин доморощенного театра, если главный актер, разыгрывающий у него первые комические роли, вдруг, по уязвлению совести и неодолимому призыванию, отказался бы от скоморошества, изъявив желание посвятить себя пощению и отшельнической жизни. Разгневанный Транжирин¹⁶ и слушать не хочет о спасении души его. Он грозит ему; под опасением наказания требует от него, чтобы он пустяков в голову не забирал, не в свои дела не вмешивался, а продолжал потешать барина, разыгрывая роли Хлестакова, Чичикова и тому подобные. Можно было надеяться, что важность и духовное направление книги несколько образумят и критику нашу. Надежда не сбылась. Все написанное о ней было более или менее неосновательно и поверхностно, более или менее неприлично. Кто по заведенному обычаю вытаскивал из нее наудочку критики слова и отдельные фразы: рядил и судил о них с важностью школьного учителя, который сам знает грамоту свою с грехом пополам. Кто из *уставщиков кавык и строчных препинаний*¹⁷ углублялся в перетасовку запятых, щеголяя своими особенными познаниями по этой части. Это все еще бы ничего. Мы привыкли к обьему и делопроизводству нашей журнальной критики. Нельзя же требовать отповеди мысли на мысль от людей, для которых литература мертвая буква, а не живое слово. Но худо и оскорбительно поступили те, которые оказывали сомнение в искренности убеждений автора. Можно не сочувствовать им, но и тогда должно их уважить. Ни в каком случае не подлежат они разбору критики холодной, суетной, человечески гордой и потому человечески шаткой и ограниченной. Да и как вам понять друг друга при совершенной противоположности мнений, задушевных верований и основных начал? Один смотрит на жизнь с житейской стороны, снизу вверх; другой со стороны духовной, сверху вниз. Один признает власть разума и все подчиняет ей. Другой поклоняется уничижению разума перед иною неразъяснимою, но сладостно и плодотворно тяготеющею над ним силою. И точка исхода и цель направления, и путь и напутные средства — все различно. Где же сойдутся противники и где бы могли они сойтись? Странно присвоить себе право делать над живым телом анатомические опыты, рассекать живое сердце, как бесчувственное. Перед нами не вымышленное лицо, которому автор по произволу своему придает убеждения, чувства, страдания. Нет, здесь человек, плоть и кровь, страдалец,

брат ваш. Он изливает пред вами сокровеннейшие тайны свои; с духом сокрушенным, испытанным, он поверяет вам все, что выстрадал, в надежде, что исповедь его может принести некоторую пользу ближнему. А вы строго и самопроизвольно судите, разбираете, так ли он плачет, как следует, не притворяется ли он, не малодушничает ли? Вы подмечаете, ловите каждый стон его. Вы с жестокою радостью нападаете на него, когда вам кажется, что он промолвился, что он противоречит себе, как будто скорбь может всегда рассчитывать слова свои. Разумеется, что все это говорю не о той критике и не о тех критиках, о которых говорить нечего. С упреками своими обращаюсь я к той части судей изустных или письменных, которых голос должен быть принят в соображение и во внимание. Между ими некоторые погрешили недостатком доброжелательства, терпимости, братской любви, даже светского общежителства, на которые имеет полное право писатель, каков Гоголь; погрешили и недостатком законной, необходимой справедливости, на которую имеет право каждый из нас. Русский человек даже и обидевшему его говорит: «Бог простит!», а Гоголь только тем пред вами и виноват, что вы не так мыслите, как он. Мы чувствуем и толкуем о независимости, о свободе понятий, а в нас нет даже и терпимости. Кто только мало-мальски не совершенный нам единомышленник, мы того считаем парием, каким-то чудовищным исключением. Мы готовы закидать его камнями. Конечно, все это у нас еще ребячество. Дети обезьянствуют, корча взрослых людей, но худо, когда они заимствуют и погрешности их. Есть пороки наследственные, неминуемые злоупотребления, сроднившиеся с установленным порядком вещей и событий. Но есть пороки преждевременные, прививные. Они хуже всех других и более всего безобразят. Это ранние морщины на лице юноши. На молодой нашей литературе много наведено таких насильственных морщин.

V

Выше было уже замечено, что книга Гоголя не сочинение, а сборник писем и отдельных отрывков. Он собрал и напечатал их затем, что *хотел искупить* [будто] *бесполезность всего, доселе им напечатанного, потому что в письмах его, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в его сочинениях.* Это собственные слова его.

Далее говорит он: «Я писатель, а долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взывается с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поученье людям». Еще далее прибавляет он: «в этих письмах было кое-что послужившее в пользу тех, к которым они были писаны. Бог милостив, может быть, послужат они в пользу и другим, и снимется чрез то с души моей часть суровой ответственности за бесполезность прежде писанного»¹⁸. Цель, которая была у автора в виду при напечатании книги своей, ясно и убедительно обнаруживается. Цель благонамеренная, прекрасная, братская. Нельзя благороднее и лучше понять важность и святость своего авторского звания. Уму беспристрастному, не отуманенному предубеждениями, нельзя не согласиться с этим. Исполнение соответствует ли благому намерению? И здесь беспристрастный, добросовестный суд совершенно оправдывает автора. Можно быть более или менее довольным приемами, изложением, которых держался автор в выражении мыслей, суждений и верований. Но нет сомнения, что чтение книги его ни в каком случае не может быть бесплодным. Многие в ней, если не все, обращает внимание человека на самого себя, заставляя его невольно заглянуть в душу, осмотреться, допросить, ощупать себя. Не только в тех, которые ей сочувствуют, но и в других должна она неминуемо пробудить внимание к вопросам, остающимся в стороне и в совершенном забвении при движении текущей и бесполезно уплывающей литературы нашей. А между тем в этих вопросах таятся загадка нашей жизни и возможное объяснение оной. Автор, соглашаясь с мнением Пушкина, сознается, что преимущественное авторское свойство его есть умение подмечать и выражать *пошлость пошлых людей*¹⁹. Можно прибавить, что силою художества он облек эту пошлость в яркие краски и возвел ее до совершенства в своем роде. Стало быть, он прав: он честно и похвально заплатил дань свою искусству. Но худо то, что с его легкой руки эта *пошлость* разлилась по всей литературе нашей и сделалась ее общим и окончательным выражением. Честь и признательность автору, который хотя и против воли дал ложное и прискорбное направление, но зато ныне первый подает предостерегательный голос и зазывает собратий своих в область более обширную и возвышенную. Мир и забвение бедным [коллежским регистраторам и другим] канцелярским служителям! Пора оставить их в покое. Они до последней нитки переплатились с литературою нашею;

которая взяла их на откуп. Гоголь до последнего колоса перекошил низменные жатвы нашего общества. Мудрено, как другие не догадались, что после него не осталось ни одного живого зерна, и голодные бросились на поле, опустошенное сильным и ловким жнецом. Ныне автор призывает на свой суд не мелкого чиновника, а себя и человека. Он расширяет и облагораживает круг своего действия. Он из уезда переходит в открытый Божий мир. Посмотрим, будет ли нынешний пример так увлекателен и действителен, как прежний. Если полагать, что настоящая книга его не заслуживает пристального внимания общества, то должно бы заключить с прискорбием, что *пошлость*, о которой говорено выше, заразила не только поверхность нашей литературы, но прокралась и в глубину наших духовных потребностей, что она отучила нас от всего, что составляет нравственное достоинство человека.

Письма эти первоначально предназначены были к напечатанию по смерти автора. Разумеется, многое в них получило бы тогда особенное значение и силу. Загробный голос имеет какую-то непреложность и святость, которых лишено слово суетное, еще живущее и потому подверженное изменению. Иному в этой книге, как, например, *завещанию*, не следовало бы войти в состав ее. Что разрешается мертвому, то может быть превратно перетолковано в живом. А ближнего вводить в искушение и в кривые толки не должно. Проповедывая даже истину, нужно соразмерять ее силам и понятиям слушателей. Люди легковверны там, где выказывается зло. Они недоверчивы и остерегаются, когда проявляется пред ними добро несколько необычное и не легко доступное. Смирение может показаться скрытою гордостью. На это у людей есть известное изречение: *уничуждение паче гордости*. А люди очень охотно осуждают ближнего готовыми приговорами. Это облегчает совесть их: не они обвиняют, а только применяют обвинение. Может быть, оно и придется к стати.

Впрочем, в частностях мало ли что можно подвергнуть замечанию и в чем можно поспорить с автором каждой книги. И в этой не все может быть принято беспрекословно. Случается автору передавать нам желания свои, упования за выводы и заключения непреложные. В общности, в отношении умозрительном, он почти всегда прав. В частных применениях к действительности он иногда ошибается. Везде виден человек, который духовными исследованиями над собою и жизнью доискался многого и дошел далеко. Но практический человек отстал.

Взгляд его не всегда светел и верен. Когда дело идет о житейском, он не всегда прямо глядит ему в лицо, а с угла умозрительной точки, как, например, в письмах «Русский помещик», «Сельский суд и расправа», а частью и в других письмах. Не все то сбыточно, что желательно. Не достаточно написать прекрасные идиллии и мечтательные проекты о неразрывном мире, чтобы возвратить золотой век на землю. В письме об «Одиссее»²⁰ есть тоже слишком много поэзии, но есть не в художественной оценке подлинника и перевода; тут поэзия у себя дома. Все в этом отношении сказанное автором и поэтически прекрасно и критически верно. Но зато, когда он определяет действие, которое появление этого творения произведет на Россию, нельзя не признать, что автор слишком далеко заносится в область благонамеренных мечтаний: тут воображение критика строит воздушные замки и срывает золотые яблоки с небывалых деревьев. Странно, как люди и сильные, более прочих противодействующие влиянию и господству заразительных понятий и укоренившихся привычек, часто сами подчиняются им и невольно падают в общие злоупотребления. Нет сомнения, что главный недуг нашего времени есть неумеренность и преувеличение. Все натягивают все донельзя. Все силятся набить цену на истину, как будто настоящая, внутренняя цена ее недостаточна. В наше время не довольствуются тем, что дважды два четыре: все ищут какой-нибудь придачи. В политике, в литературе, в нравственных и общественных вопросах, в искусствах, в промышленности все силы, все стремления настроены, напряжены к тому, чтобы удивить выведенным итогом так, чтобы дважды два было по крайней мере пять. Иначе не стоит и за дело приниматься. Это входит в понятия о *прогрессе*. Время идет вперед, а с ним должно погонять и самую истину. Сам Гоголь очень забавно и верно осмеивает эту общину кичливости, которая везде *открывает Америку и каждое найденное зернышко раздувает в репу*²¹. А между тем иногда и он сбивается на то же и видит новый мир там, где просто явление отрадное, но отдельное. Но в нем это не кичливость, а разве излишняя восприимчивость воображения, которое преувеличивает видимые предметы и пересоздает их по-своему. Рассказывали о Дидероте, что он в книгах не всегда читал то, что было в них напечатано, а каким-то междустрочным чтением то, что ум его прибавлял от себя. Взгляд Гоголя на вещи часто имеет одинаковое с этим свойство. Впрочем, тут действует еще и другое прекрасное начало: любовь к ближнему и

к добру. Воплощенное и, так сказать, согретое на огне этой любви, всякое благое желание в глазах его уже осуществляется в событие. Когда автор преследовал порок, он уже ничего в человеческой природе, кроме порока, не видал. Так сильно было его негодование. Когда он мысль свою устремляет на благую цель, он не видит препятствий и силою любви хотел бы творить чудеса, в которые он верует. Найдутся, вероятно, и другие недостатки в книге его, но они искупаются общим достоинством ее. По прочтении ее нельзя не полюбить автора, не исполниться к нему уважением. Нельзя человеку не исключительно преданному суетным и житейским потребностям не позавидовать духовному состоянию его. Чувствуешь, что это состояние завоевано ценою многих борений, высоких страданий, ценою многих бессонниц телесных и духовных, в которые проявились ему истины, им передаваемые живою и проникающею речью. Все это заставляет каждого призадуматься о себе самом. Все это зрелище трогательное и поучительное. Книга Гоголя напоминает книгу Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». Знаменитый узник также выстрадал ее и вынес из стен своего заточения, как лучший и созревший плод многолетних испытаний. В ней также нет, по-видимому, ничего нового, изумляющего, она не раскрывает новой системы, нового учения. Вероятно, не один журналист, не один так называемый глубокий мыслитель с высоты ходулей своих отозвался с презрением о пошлости и ребячестве преподаваемых в ней нравоучений, давным-давно всем известных. Дело в том, что истин не изобретают, а только умением и трудом добывают, как золото. Оно искони существует, но сокрытое в недрах земли; другие также предвечно таятся в началах и законах вещественного и духовного мира. Одни алхимики думают, что можно сочинить золото. Одни малоумные и софисты воображают себе и хотят уверить других, что они сочиняют истины. Посмотрите, с каким глубоким уважением Пушкин упоминает о книге Сильвио Пеллико, как верно и умилительно характеризует он ее в нескольких строках²². Между тем взгляд Пушкина на жизнь не взгляд Сильвио Пеллико. По-видимому, в них мало духовных соотношений и сродства. Но Пушкин, как всякий избранный, питал сочувствие ко всему прекрасному, искреннему, возвышенному. Он в данное время постигал его даже и тут, где не был единомышленником. Сравнивая русскую книгу с итальянскою, мы преимущественно имели в виду дух, напитавший обе книги, и путь, на который они указывают.

В книге итальянского писателя отсвечивается более мягкости и нежности сердечной: Гоголь и в смирении и в братолюбии своем сохраняет еще некоторую жесткость прежних своих приемов. Но при всей односторонности направления книги Гоголя, она имеет более разнообразия и движения, нежели та. Она касается более или менее всех современных и животрепещущих вопросов, и на каждом вопросе автор зарубает отметку свою резным и ярким словом. Многие страницы в сей книге исполнены одушевления и красноречия, как, например, в письме «Женщина в свете», в котором так много свежести, прелести и глубокого верования в назначение женщины в обществе. Нужно иметь большую независимость во мнениях и нетронутую чистоту в понятиях и в чувстве, чтобы облечь женщину в подобные краски, когда на литературном поприще женщины сами клепят на себя, чтобы подделаться к мужчинам. Письма «О нашей церкви и духовенстве», «О лиризме наших поэтов», «Христианин идет вперед», «Светлое воскресение», некоторые из литературных портретов его и оценок и многие другие места, здесь и там разбросанные в книге, могут стать наряду с лучшими образцами нашей прозы. Вообще язык и слог автора имеют здесь более стройности и зрелости, нежели в прежних его произведениях. Иногда, но гораздо реже, вырываются звуки слишком резкие, выражения как будто ошибкою попавшие сюда из старых его рукописей. Там они были более или менее у места, но здесь бросаются в глаза, как соринки, про которые автор упоминает в письме об «Одиссее». Вообще все, на чем может в этой книге остановиться строгий взор беспристрастной и добросовестной критики, не что иное как соринки, которые [автору] легко смести одним движением пера. Но целое есть чистая, светлая храмина. Строгое и стройное убранство ее успокаивает зрение и душу. В ней протрезвляются чувства и утихают волнения, подъятые тревожными и раздражительными впечатлениями, которые отовсюду осаждают нас. Она призывает к тихому размышлению, втесняет нас, сосредоточивает в самих себя. Из нее выходишь с духом умиленным, с сознательностью и с чувством любви и благодарности к ее строителю и хозяину.

После всего сказанного здесь, если спросят меня: хочу ли, чтобы Гоголь оставил навсегда прежние пути свои и шел исключительно по новому, который он проложил последнюю книгую своею? скажу, не запинаясь: нет! Я уверен, что между прежним Гоголем и нынешним может последовать и последует прекрасная сделка, полезная

мировая. Он умерил и умирал в себе человека; теперь пусть умерит и умирят в себе автора. Пускай передаст он нам все нажитое им в эти последние года в сочинениях повествовательных или драматических, но чуждых этой исключительности, этого ожесточения, с которым он донныне преследовал пороки и смешные слабости людей, не оставляя нигде доброго слова на мир, нигде не видя ничего отрадного и ободрительного. Гоголь во многих местах книги своей кается в *бесполезности* всего написанного им: это не верно. Написанное им не *бесполезно*, а, напротив, принесло свою пользу; но оно частью *вредно*, потому что многими было худо понято и употреблено во зло. Он первый, особенно «Мертвыми душами», дал оседлость у нас литературе укорительной, желчной и между тем *мелко придиричвой*. Все за ним, надбавляя над подлинником, бросились унижать, безобразить человека и общество, злословить их, доносить на них. Все лица, выводимые на сцену последователями его, подлежали на поверку или уголовному суду, или по крайней мере расправе съезжего дома. Особенно на эти последние лица был большой расход, потому что они были более по силам многих. Что французские повествователи ищут вдохновения более в «Судебной газете», нежели в общей истории человечества и в сердце человека, это хотя и прискорбно, но, однако же, понятно. Французское общество потрясено было ужасными переворотами, оно прошло сквозь огонь и кровь. В литературе его неминуемо должны отзываться волнение и брожение, заброшенные в нее событиями и действительностью. Но на нас, благодаря Богу, Провидение не наслало свои жестокие уроки. Отчего же нашей литературе быть лихорадочной и судорожной? Впрочем, она даже и не действительно судорожна. Можно сказать, что ее не корчат внутренние, истинно болезненные судороги, а она корчит судороги. Здоровая, она прикидывается больною. По природе своей, по своим способностям миролюбивая и даже довольно простодушная, она сама щиплет и царапает себя, чтобы иметь случай искосить глаза и рот, взъерошить волоса на дыбы и казаться сердитою и страшною. Все это смешно, но все это может быть и жалко в последствиях своих. *Обращаться с словом нужно честно*²³, сказал Гоголь. Можно прибавить: и с любовью, а любовь, по словам одного из святых наставников, *долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине, все прикрывает, всему веру емлет, все уповает,*

*все терпит*²⁴. Не только в проповедях и нравственных размышлениях, но и в вымыслах воображения, в романе, в драме, в сатире, слово может быть проникнуто, пропитано *честностью* и *любовью*. Этого слова в каких бы объемах ни было — вольному воля! — ожидаем от Гоголя и более нежели когда-нибудь мы вправе ожидать от него.

Приписка. У нас во имя Гоголя подняли вопрос, не только литературный, но едва ли не политический. Мы большие охотники до возбуждения вопросов, особенно там, где вопрошать нечего. Но так уже суждено: мы неутомимые и неугомонные вопросители. На лбу нашем в виде родимого пятна выставлен вопросительный знак. Разумеется, на все эти вопросы каждый отвечает по-своему: с точки зрения своего, сочувствий своих, мнений, предрассудков и так далее. А кто, и этот кто многочислен, отвечает просто наобум, так, здорово живешь. Из всех этих ответов рождается ужасная бестолковщина и путаница. Мы и это любим. Кто видит в Гоголе либерала, а потом отступника; кто какое-то загадочное лицо, которое трудно разгадать. Ларчик, кажется, проще раскрывается. Гоголь писатель с отменным и высоким дарованием, но он не во главе и не из числа тех писателей, которые пробуждают вопросы политические и социальные. Он сам не думал и не мечтал о таком положении: на это положение натолкнули его. В некоторой сфере и до известных пределов был он очень умен. Он великий живописец, живописец ярких красок, кисти смелой и свободной, но не глубоко проникающей в полотно. Мастерски и удачно схватывал он некоторые черты человеческой физиономии, но именно некоторые, а не все. У него более частные, отдельные лица, но всего человечества, всей человеческой природы нет. Он не философ, не моралист, как великие комики и великие повествователи Запада. Творения сих последних школа для всех народов. Мудрые уроки их переживут много поколений. Гоголь более местный живописец и живописец определенного времени. Многое в современной ему России вырвал он, так сказать, живьем. Основательное образование, которое дает школа, и образование, которое позднее дается жизнью, недостаточно были в нем развиты и выработаны. Оттого и встречаются у него неровности, противоречия, недостаток полноты и стройности. Внешние, приобретенные запасы его были довольно скудны и в совершенной несоразмерности с богатством, с стремлениями и, так сказать, неутолимою жаждою дарования его. Он это

чувствовал, сознавал; он этим внутренно страдал, и страдание это делает честь ему. Была с ним еще беда. Друзья и поклонники задушили его лаврами, которыми закидали его; с другой стороны, недоброжелатели и противники чуть не забросали его камнями. Это не пугало его, но смущало, а вероятно, и раздражало его. Он был натуры нервной, впечатлительной, легко восприимчивой. Он слушался Жуковского и Пушкина, но не хотел бы огорчить и Белинского и школу его, если можно назвать ее школою. Непризванные хвалители, непризванные противники не умели спокойно оценить дарование его по достоинству. Все это доказывает небогатство литературы нашей и совершенную бедность нашей критики. Уровень литературы нашей, разумеется за некоторыми исключениями, так не высок, что новое явление, врасплох поражающее нас чем-то еще небывалым, необыкновенным, сбивает нас с толку: при нем не соберемся мы ни с мыслями, ни с духом. Этого не бывает с западными литературами. Там замечательные явления бывают чаще, уровень выше. Все более или менее успели присмотреться, научились и могут сравнивать. И там бывают ошибочные впечатления; но они случаются реже, скорее приводятся в ясность и выпрямляются. В путанице суждений о нем бедный Гоголь сам запутался. Он был самолюбив, скажем откровенно, был или бывал иногда несколько суетен; но кто же не имеет греха этого на совести в большей или меньшей доле? Вместе с тем при своей гордости имел он качество, которое имеют не все: недоверие к себе и к таланту своему, по крайней мере в той степени, на которую хотел он возвысить дарование свое. Эта черта его трогательна и возбуждает особенное сочувствие к нему. Он и при успехах своих все еще был не удовлетворен; он все стремился к чему-то, по чем-то тосковал, искал идеального совершенства, не хорошо сознавая, в чем именно оно состоит. Если не слишком смело, позволю себе сказать, голова его и после благополучных родов все еще мучилась какими-то вымышленными и ожидаемыми им родами, которые не давались ему. Он чувствовал, что приятели слишком захвалили его, и хотел оправдать их непомерное восхваление; хотел того и для себя, потому что внешнее восхваление, разумеется, кончилось тем, что немного отозвалось и в нем, во внутренних тайниках сердца его; хотел он оправдать себя и перед самим собою. В этой борьбе, в этих перемежающихся припадках самодовольствия, гордости и смирения, доходящего до уныния, должно, по мнению моему, искать ключ ко многим

странностям характера его, к литературным и другим ненормальностям, одним словом, правдивую повесть во многих отношениях печальной участи его и самой преждевременной и загадочной кончины. Кажется, мы уже намекали о некотором сходстве его с Ж.-Ж. Руссо, разумеется, не в могуществе и обширности таланта, но более с точки зрения психической²⁵. Смерть Гоголя, как и смерть Руссо, имеют также что-то общее: роковое, мрачное, неизъясненное. И тот и другой были люди болезненные; подобная физическая немощь не могла не иметь влияния и на духовное настроение их. Руссо идеолог; в более тесном объеме был идеологом и Гоголь. Еще одно сравнение, более литературное и касающееся до авторства. И тот и другой, каждый в сфере своей, сильный боец против недугов общественных, язв человека и общества; тот и другой возмущаются всеми порочными явлениями, карают их беспощадно; но придется ли лечить эти недуги, научать, что должно предпринять, чтобы заменить их правильною гигиеною, ничем не возмутимым здоровьем, и тот и другой оказываются несостоятельными: они диагностики, а не целители, один в сфере политической, другой в сфере общежития. Тот и другой бывают иногда декламаторы. Посмотрите, например, в «Письмах к друзьям» все, что выводит Гоголь из перевода «Одиссеи» на русский язык Жуковским. Перевод, разумеется, литературное событие, но он возводит его в общественное, социальное, чуть не государственное. Он ожидает от него совершенного, целого переворота в русской жизни. Это ребячество. Такие ребячества встречаются и у Руссо. В знаменитом письме к Даламберу²⁶ он сильно, красноречиво, но часто парадоксально и декламаторски восстает против устройства в Женеве постоянного театра; в театре видит он гибель Женевы, развращение и падение чистых ее республиканских нравов. Это все еще ничего; но он в том же письме предлагает заменить спектакли какими-то домашними посиделками, что выходит у него довольно смешно, а на деле вышло бы, вероятно, очень скучно.

В некоторой печати нашей были пущены намеки на опеку, под которой будто бы держали Гоголя некоторые из его друзей. От этой опеки будто бы и вышли все литературные невзгоды, отступничества, ренегатства его. Тут, видимым образом, особенно разумеется Жуковский. Нечего и говорить, что попытки на подобную опеку не бывало. Все это выдумка и вздор. Но нет сомнения, что Пушкин и Жуковский хотя были искренние ценители дарования Гоголя, но вместе с тем были и строгие судьи;

они руководствовали его не в выборе предметов, подлежащих его вдохновению, не в направлении, а часто в изложении мыслей его, в слоге, в правильности языка. Они поощряли его к новым трудам, к новым успехам, могли поддерживать, ободрять его в минуты уныния; но не туманили глаза его излишним фимиамом, видели в нем равного себе и так с ним и обходились, видели в нем брата, но не полубога. Однажды Гоголь обещал прочесть у меня новую главу «Мертвых душ»²⁷. Съехалось несколько приятелей. Был ли он не в духе, не нравился ли ему один из присутствующих, не знаю, но Гоголь заупрямился и не хотел читать. Жуковский более всех приставал к нему, чтобы он читал; наконец со свойственным ему юмором сказал он: «ну, что ты кобенишься, старая кокетка; ведь самому смерть хочется прочесть, а только напускаешь на себя причуды». Будь Пушкин еще жив, не будь Жуковский за границею по болезни своей и жены, и Гоголь, вероятно, под этою дружескою охраною, лучше и миролюбивее устроил бы участь свою литературную и житейскую. При них как они довольствовались мирным совершением подвига своего, так и он довольствовался бы дарованием, которое дал ему Бог, не гоняясь за призраками какой-то далекой славы, которою точно будто дразнили его слишком усердные поклонники. Как бы то ни было, печать наша, как хвалебная, так и порицательная, вероятно, имеет на совести своей многое из того, что заволокло тучами последние годы жизни Гоголя, а может быть, и последний день ее.

На этот раз написал я *Приписку* до прочтения и проверки статьи, именно с тем чтобы как-нибудь и невольно не поддаться влиянию прежних впечатлений и приговоров. Поступил я, кажется, хорошо. Суждения или, правильнее, толки о Гоголе не подвинулись с того времени ни на шаг. Много было о нем писано, но ничего не сказано. Что же до меня касается, в новых суждениях моих, кажется, не ушел я вперед и не отступил. Часто встречаюсь с самим собою, даже несколько повторяю себя, но, право, не наизусть. Признаюсь, это меня радует. Помнится мне, что статья моя, особенно в том, где идет речь о Гоголе, никому не угодила, начиная с него самого²⁸. Но я и не думал угождать ему; хотелось мне выразить мысли и мнение мое, вот и все. Еще менее искал я угодить хвалебникам или порицателям Гоголя. Неудача моя едва ли не успех. Она может служить указанием, что я попал на правду, что между двумя крайностями стал я посредине вопроса, если уж непременно нужно сделать из Гоголя вопрос.